
ДВА ОБЩЕСТВА, ОДНА СОЦИОЛОГИЯ И НИКАКОЙ ТЕОРИИ

Г. Эспинг-Андерсен

В статье говорится о том, что объяснительная способность классической социологии снижается, так как современные экономика и общество претерпевают стремительные и существенные изменения. Однако исследования этих трансформаций с позиций «пост»-категорий, в особенности постмодернистские исследования, с их акцентом на языке и дискурсе, также не приносят адекватных результатов. В качестве альтернативы автор предлагает с помощью различных *лейтмотивов* выявить определенные константы, а затем установить и описать различные модели изменений. В статье даются рекомендации будущей социологии: чтобы понять изменения, происходящие в современном обществе, социология должна стать эмпирической и сравнительной как в диахроническом, так и в синхроническом плане. Социологии следует установить «константы» и меньше беспокоиться об отсутствии теории.

Ключевые слова: теория, сравнительный анализ, эмпиризм, методология, экономическая социология

Приоритет теории?

Социологи почитают своих классиков в гораздо большей степени, чем представители других дисциплин¹ [Bell, 1980]. Это можно объяснить отсутствием настоящей теории. Наши предшественники никогда

Статья впервые опубликована: Esping-Andersen G. Two societies, one sociology and no theory // British Journal of Sociology. Vol. 51. Issue. № 1 (January-March. 2000). Перевод и публикация осуществлены с разрешения издателя.

¹ Автор глубоко признателен Т. Кьюсаку, П. Халлу, Х.М. Маравелли, Д. Майлсу, Э. Рутильяно и Д. Стефенсу за их помощь в написании статьи.

не создавали ничего схожего с аксиоматическими, интегрированными и трансисторическими теоретическими построениями. Их задача была скромнее: они просто пытались понять *современное им* общество. Одни завещали нам в наследство блестящую социологию, другие не оставили после себя ничего значительного. Они все еще могут нам что-то сказать — если то, что они наблюдали в прошлом веке, в общем и целом продолжает существовать и по сей день; их постепенно забывают, если они неправильно понимают эволюцию общества. Вряд ли сегодня кто-нибудь читает Моска.

Научная дисциплина без теории нуждается в компенсирующем руководстве. Его роль в свое время выполняли великие вопросы, которые ставили перед наукой наши классики, а порой даже находили на них ответы, и которые, спустя столетие, продолжают стимулировать научный поиск. По большей части вопросы были просто эмпирическими, это был поиск закономерностей и каузальных объяснений, попытка понять то общество, которое представало перед *их собственным* взглядом¹. Если не принимать во внимание постулат о прибавочной стоимости и «теорию» Маркса, «теория» бюрократии в действительности является впечатляющим эмпирическим обобщением, а его социология власти по существу представляет собой типологию². В работах Дюркгейма о разделении труда мы обнаруживаем социологическое переосмысление прогнозов Адама Смита; «закон» олигархии Михельса был попыткой создать более общую гипотезу на изучении всего лишь одного случая. А героическая попытка Парсонса объединить все это в грандиозную теорию равновесия является, прежде всего, упражнением в классификации, систематизации, составлении схем AGIL и т. д.³

Такие стимулирующие вопросы, гипотезы и типологии ценятся дольше в том случае, если они касаются социального порядка, который достиг стабильности и заявил о своем господстве; речь идет о таком социальном порядке, который ведет к неизбежной конвергенции тенденций, сближая эпохи и нации, а также о таком, который вырабатывает институциональную структуру, поколение за поколением оформляющую

¹ Гидденс [Giddens, 1979] проводит различие между социальной теорией и теоретизированием об обществе. Вклад классиков здесь уходит на второй план.

² Коллинз [Collins, 1980] высказывает в определенной степени схожий аргумент.

³ Возможно, я слишком пристрастно отношусь к попытке Парсонса построить объединяющую теорию, этакий социологический эквивалент общей теории равновесия в неоклассической экономике. Некоторые считают, что неудача Парсонса связана с тем, что он попытался объединить некоторые выборочные положения из Дюркгейма и Вебера за счет теории конфликта. Самым сомнительным моментом в этой теории был, пожалуй, ее нединамичный характер и банальность — результат слишком абстрактной схемы.

образ жизни людей, способы действовать, мыслить и принимать решения. Перефразируя Мертона, можно сказать, что социологи 1930-х, 50-х и даже 70-х годов понимают общество лучше — ведь они взбираются на плечи предшествующих социологов, иногда просто талантливых, а иногда — настоящих гигантов. Диалог с классиками продолжается, потому что капитализм, описанный социологами в 1930-х или 70-х годах, следовал по траектории, весьма похожей на ту, которую, скажем, наблюдал еще Дюркгейм.

Теперь мы перешли в новое тысячелетие. Конечно, дни рождения обычно не имеют большого исторического значения, но, тем не менее, время, в которое мы живем, кажется нам исключительным, эпохальным. Многие из нас убеждены — хотя и не способны это доказать, — что мы переходим к новому, качественно иному социальному порядку. Социология может застыть на грани между знакомым, назовем его «обычным индустриальным обществом», и незнакомым, развивающимся, до сих пор безымянным общественным строем. И если это так, то наследие наших классиков может потерять свою значимость; типологии и понятийный инструментарий, неустанно совершенствуемые поколениями социологов, могут оказаться неэффективными. Так с чего же нам начать постижение развивающегося на наших глазах общества? Какую социологию должны мы приветствовать в наступающем веке?

Я пойду навстречу читателям, мало склонным к умозрительным построениям, и предвосхищу свои выводы. Я вовсе не считаю, что отсутствие теории является слабым местом социологии и что этого нужно стыдиться. Мы вполне можем найти эффективную замену теории. Все, что нам нужно — это точка опоры, несколько стабильных, общепризнанных «социальных констант», с помощью которых мы, как социологи, сможем оценить значение множества изменений, происходящих у нас на глазах. На мой взгляд, великий вклад наших классиков заключается не в том, что они выдвинули свои «теории общества», создали типологии или даже поставили перед социологией свои великие вопросы, а скорее в том, что они предложили оригинальные методологические подходы к решению актуальных для своего времени проблем. Проблема, с которой они сталкивались и с которой теперь сталкиваемся мы, заключалась в том, чтобы исследовать явление на ранних стадиях его эволюции.

Решением проблемы стал двойной сравнительный метод. Чтобы понять сущность нового, они предпринимали диахронические сравнения с далеким прошлым и, перекрестно, разрабатывали идеальные модели тех зачаточных явлений, которые, с их точки зрения, должны были развиваться в будущем. Они стали классиками социологии, если предчувствие их не обмануло.

Великий Вопрос

Наша сестра Экономика потерпела бы крах, если бы не было свободного выбора. Парадоксальным образом экономисты поддерживают крайне монополистичную теорию. Почтенные экономисты, все равно что покупатели в советском магазине, обречены на ограниченный выбор: так как в наличии имеются только основные товары одной-единственной марки. В противоположность им социологи в гораздо большей степени похожи на *homo economicus*, у которого дух захватывает от разнообразия товаров – картина, больше напоминающая американский супермаркет. Социолог весьма напоминает идеальную модель независимого потребителя. Не существует «кислотного теста», независимо от целевой группы определяющего, что есть хороший тон в социологии.

Такая свобода способствует производительности и креативности, но без теоретического базиса нет гарантии, что креативность будет релевантной. Мы просто плывем по течению. Каким же образом мы придем к дисциплинарному единству? В основном, нас объединяют великие вопросы и наводящие на размышления *leitmotivy*. Таким великим вопросом, формирующим идентичность социальных наук, был вопрос о том, каким образом социальный порядок, демократия, равенство и солидарность могут быть совместимы с урбанизированной, индустриальной капиталистической экономикой: речь шла о противоречии между производительностью и общностями.

Одна сторона монеты, производительность, в конечном счете монополизированная экономистами, легче поддавалась анализу с точки зрения трансисторической теории, по крайней мере, после объединения теории маргинальности и понятия всеобщего эквilibriumа¹. Социологов заинтересовала другая сторона – социальная интеграция, что означало отказ от каких-либо притязаний на строгую науку². И экономика, и социология стали широко востребованными дисциплинами, так как каждая из них держится на глобальных компромиссах, так или иначе влияющих на человеческое благосостояние во всех его аспектах. Там, где присутствует компромиссы, во главе всегда стоит идеология. Если давать шуточное определение, то экономист – это тот, кто получил докторскую степень по «идеологии невмешательства», то есть классический либерал. Социолог же, помешанный

¹ Белл [Bell, 1980] обоснованно и ясно показал сдвиг этой парадигмы в экономике.

² Здесь я снова преувеличиваю. Может, это и не строгая наука, но попытки Хоманса [Homans, 1950, 1961] найти универсалии в микросоциальном поведении, а позже попытки Коулмана [Coleman, 1990] и других показать, что социальное поведение обусловлено принципом рационального выбора, говорят о том, что не все социологи согласны с тем, что их дисциплина «копирует» модель американского супермаркета.

на солидарности и социальной справедливости, больше похож на социал-демократа.

Тем не менее современные социологи, кажется, теряют интерес к своей исторической «социал-демократической» миссии. Всеядная, берущая за все подряд социология теперь все больше отдаляется от центральных «компромиссов», от механики капиталистических демократий. Ее интерес смещается в сторону психологических аспектов социальных идентичностей, в сторону антропологизма, историцизма, семантики. Герои социологии *fin de siècle* – пресытившиеся постмодернисты, «проницательные историки» и беспощадные деконструкционисты, и ни один из них особенно не склонен неустанно поддерживать диалог, например, с Вебером. Сегодня, наверное, выходит больше книг о сексуальных идентичностях, нежели о власти или социальных классах, больше спорят о языке, чем о том, как провести хорошее эмпирическое исследование.

Таким образом, глобальные вопросы, которые занимали социологию на протяжении целого века, современных социологов не особенно вдохновляют. Может быть, потому, что Вебер, а вместе с ним и общество, которое он описывал, теперь устарели, о чем свидетельствует стремительное увеличение всевозможных «пост-измов». Возможно, нам просто удобно ставить «пост» перед тем, с чем мы *хорошо знакомы*, но это действие само по себе сигнализирует о явном разрыве: «современного» «индустриального» общества больше не существует. Многие социологи смутно соглашались с этим предположением, но мы бы с удовольствием пошли еще дальше и отказались от ярлыка «пост».

Что же делать в таких обстоятельствах? Помогут ли нам постмодернизм, Фуко или деконструкционизм соединить старое и новое или, может быть, лучше направить наш потенциал в другое русло? Междисциплинарные исследования, конечно, нужно приветствовать, но историки всегда будут профессиональнее в истории, а лингвисты – в языке. И если мы считаем себя социологами, то нам следует оптимизировать то, в чем мы сильны. Я предлагаю вернуться к великим вопросам, помогающим нам разобраться в причинных связях, к оттачиванию эмпирического анализа, который первыми взяли на вооружение наши, теперь уже, по всей видимости, забытые предшественники. Изучение идентичностей, вкусов и речи, конечно, необходимо, и даже может нам помочь обнаружить новое. Нет ничего тривиального в том, что представление о жизни современной молодежи кажется нам, поколению родителей, чуждым. Исследование их потребностей может подсказать, куда мы движемся. Но микросоциологические исследования, которые сейчас в моде, не приносят желаемых результатов, потому что их не так-то легко согласовать с главной дилеммой современности – внутренней механикой новой экономики и общества. Постмодернисты не выделяют

глобальных, эпохальных вопросов, так как считают их устаревающими. С их точки зрения, причинные объяснения нерелевантны — ведь все относительно или даже случайно ¹.

Но если мы примемся пересматривать всю нашу политэкономия, «софистикация» и верчение словами окажется гораздо менее релевантным, чем ясный взгляд «политэконома», склонность к извлечению новой логики побуждений в исследовании фундаментальных обменов. Если нам нужно именно это, мы, социологи, должны обратить свой взгляд к трудам современных экономистов. Здесь, увы, экономисты могут не оказаться услужливыми. Нам, конечно, нужно пересмотреть свои взгляды на экономику, но ведь и экономисты нуждаются в переоценке своих социологических представлений ².

В чем польза лейтмотива

Согласно Стинчкомбе [Stinchcombe, 1968], задачей социологии является объяснение видимых вариаций внутри тех концептов, которые мы избрали в качестве сферы наших интересов: будь то власть, легитимность, неравенство или разводы. В нашем мире нет констант. Перед нами стоит дилемма: чтобы эмпирически проверить гипотезу, необходимо максимальное разнообразие; но когда разнообразие слишком велико, когда за деревьями не видно леса, мы перестаем ориентироваться. Разнообразие нужно оценивать, исходя из общих критериев, ориентируясь на некоторые константы. И вот здесь-то социология, возможно из-за отсутствия альтернативы, становится дисциплиной *лейтмотивов* — концептов, которые не соответствуют четкому критерию вариаций, предложенному Стинчкомбе.

«Die Arbeiterfrage» (рабочий вопрос. — *Примеч. ред.*) был одним из таких *лейтмотивов* у немецких социологов в эпоху кайзера Вильгельма и Веймара. Далее последовали «демократическая классовая борьба» Липсета, «конец идеологии» Белла или «стирание оппозиций» Киршаймера. Для теоретиков модернизации «индустриализм» был своего рода константой в становлении, концентрации мощных конвергентных сил урбанизированного, индустриального общества. Так же, как «капитализм всеобщего благосостояния», или, позже, «фордизм», все это — *лейтмотивы*, а не потенциально переменные концепты. В самом деле, появление огромного количества работ, вдохновленных *лейтмотивами*,

¹ В самом деле, тот факт, что экономисты сегодня куда больше интересуются классическими социальными обменов, чем социологи, приводит в некоторое замешательство.

² Тем не менее ободряет то, что экономическая социология переживает подлинное возрождение, о чем говорит, например, недавняя публикация — «Справочник по экономической социологии» [Smelser and Swedberg, 1994].

обусловлено конвергенцией, некой общей, непреодолимой движущей силой: *лейтмотив* предполагает, что подо всем этим хаотическим разнообразием скрыт некий фундаментальный принцип организации и согласованности.

Поствоенная социология была бы менее динамична, если бы не держалась за доставшиеся ей по наследству великие вопросы и набирающие силу *лейтмотивы*, которые вызывали полемику, стимулировали выдвижение гипотез, а также эмпирическую верификацию и фальсификацию, так словно речь шла о самой настоящей теории. *Лейтмотив* заменяет теорию. Но к 2000 году социология, кажется, уже исчерпала свои, когда-то богатые, запасы лейтмотивов и пока не способна пополнить их заново.

Социология «пост-измов»

Так же, как и времена Маркса и Дюркгейма, нашу эпоху можно назвать эпохой глобального переворота. Где же теперь «семья» Парсонса, «структура занятости» Блау и Дункана, «предприятие» Берлеса и Минза или «пригород» Герберта Ганса? Узнаем ли мы мир, описанный в наших университетских учебниках? Эконометры стали бы говорить о смене параметров и структурных сдвигах. Но для того, чтобы их оценить, статистический анализ не может обойтись без множества наблюдений, сделанных уже *после* структурного сдвига. Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что во многих сферах общества сейчас происходит нечто совершенно новое. Но мы не наблюдатели, удобно устроившиеся в некой новой «равновесной» ситуации, мы скорее участники процесса, похожие на водителей в густом тумане. Мы все еще помним город, из которого выехали, но уже не можем его разглядеть, а впереди, в лучшем случае, различаем лишь смутные очертания конечного пункта пути. В густом тумане легко потеряться и в конечном итоге потерпеть фиаско.

Когда параметры теряют стабильность, а институты изменяются, мы, так сказать, начинаем колебаться между двумя равновесиями и в таком состоянии не можем генерировать новые *лейтмотивы*. Нам не за что зацепиться, мы не способны осмыслить все то разнообразие, которое разворачивается у нас перед глазами. Этим можно объяснить, почему нас так привлекает постмодернизм и почему мы с такой жалкой надеждой уповаем на постнуклеарную семью, постсовременное, постпродуктивистское или постиндустриальное общество, когда хотим обозначить исторический разрыв. Наш взгляд устремлен в будущее, но измерить это будущее мы можем только сегодняшним днем.

Сколько бы мы не придумали «пост»-категорий, это не поможет нам, как когда-то помогли лейтмотивы понять окружающую действи-

тельность. «Демократическая классовая борьба» или «капитализм всеобщего благосостояния» звучат почти как лозунги, но они конденсируют значение, лаконично выражая дух эпохи. Лейтмотив можно представить в виде огромной неоновой надписи «Открыто с 7 до 11», сжатой до одного слова, вмещающего сразу все значения. Это срабатывает, так как в неоновом слове закодировано наше общее понимание мира — а это способно заменить настоящую теорию.

«Обычное» общество – в прошлом

Когда мы говорим «обычное общество», то подразумеваем, что ригидность является той силой, которая в наибольшей степени управляет происходящими в данном обществе переменами. Правила, регулирующие социальное поведение, стабильны, диахронические вариации ограничены, а разрывы между временными циклами незаметны. Мы, без сомнения, стали свидетелями эпохальных перемен, происходящих, скажем, с конца XIX века по сегодняшний день. Многие страны были свидетелями укрепления представительной демократии и становления государства всеобщего благосостояния. Тем не менее большинство ключевых институтов индустриального капитализма — семья, бюрократия, организация труда или фундаментальные социальные и классовые различия — сохраняли свои базовые характеристики на протяжении многих десятилетий. Когда наше общество ригидно, наша мысль обращается к проблемам конвергенции и вариаций; особенно интересные вариации мы обнаруживаем в синхроническом срезе. В самом деле, если мы обратимся к послевоенной социологии, то обнаружим, что наиболее динамичная картина наблюдалась в области межнациональных сравнений.

Конечно, Германия 1950-х годов не была похожа на Германию, в которой жил Вебер. Об универсальной конвергенции здесь говорить не приходится. Государство всеобщего благосостояния сформировалось в различные типы, да и плюралистическое общество Липсета вряд ли было универсальным. Впрочем, общество было довольно стабильным во времени, так что социологи могли оценить его развитие, сравнив Германию Вебера с Германией Дарендорфа; Европа и Америка в основном были также достаточно схожи между собой, что дало повод «подверстать» их под тот или иной вариант «государства всеобщего благосостояния». «Логика индустриализма» была основной точкой измерения, от которой шли временные схождения и междисциплинарные вариации; то же самое верно и для «демократической классовой борьбы» и «государства всеобщего благосостояния». Но как быть, если силы конвергенции слабеют при институциональных разрывах?

Кто твердо уверен в том, что настал «конец истории», тот не сетует на исчезновение ригидности или привычных критериев. Постмодернисты особенно не беспокоятся на тот счет, что гипотезы Вебера не объясняют современного общества. С их точки зрения миром правит скорее стохастический шум, а не закономерности, доступные нашему пониманию. Но если мы верим в то, что история (а не ее внезапная кончина) своей творческой силой способна создать что-то новое — как было в долгий период перехода от феодализма к капитализму, от абсолютизма к представительной демократии, — тогда необходимо вскрыть существующие закономерности.

Нас обескураживает то, что у нас нет никаких четких критериев, хотя мы интуитивно понимаем, что реальность изменилась. Производительность, как и многие другие ключевые концепты, является частью нашего неотрефлексированного, принимаемого как должное, научного багажа, с которым мы не расстаемся и который привычно предъявляем в качестве объяснения. Неизменность понятий закрывает нам глаза на перемены в обществе. Мы привычно используем наши фундаментальные концепты — будь то бюрократия, семья или класс — как если бы их значение и содержание не изменялось ни во времени, ни в пространстве, — именно так обстоит дело и с производительностью¹. Однажды потребовалась целая индустриальная революция и массовые коллективные выступления рабочих, чтобы убедить общество скептиков в том, что работники мануфактур заслуживают справедливого вознаграждения, потому что они — граждане, занимающиеся производительным трудом. Сегодня работники производственной сферы сами настроены скептически, и их нелегко убедить в том, что работники социальной сферы, обслуживающий персонал или финансовые аналитики являются такими же производителями, как и они. Так как большинство людей в конечном счете заняты в производстве, которое выглядит непроизводительным, что же мы тогда делаем? Может быть, как предположил Блок [Block, 1990], мы оказались в плену некоей разновидности неофизиократизма²?

Чтобы не попасть в тюрьму неофизиократизма, нам, как статистикам, необходимо в будущем увеличивать количество научных наблюдений. На критерии, которыми мы пользовались в недавнем прошлом, полагаться нельзя, их применение способно даже усугубить положение, укрепив стены нашей тюрьмы. Карл Маркс не смог бы написать свой «Капитал» до триумфа капитализма; Липсет мог осмыслить поствоен-

¹ По большей части количественную социологию можно обвинить в непростительной антиисторичности.

² А. Смита можно назвать дедушкой неофизиократизма. В «Богатстве наций» производственная занятость означает производство товаров, имеющих долговременную ценность. Услуги не подходят под этот критерий, так как они существуют только в момент своего производства.

ные классовые образования в рамках «демократической классовой борьбы», так как он писал в 1960-х, а не в 1940-х годах. И, если говорить о себе, то моя работа «Три общества капиталистического благосостояния» (*The Three Worlds of Welfare Capitalism*) не могла появиться в 1960-х и даже 1970-х годах, так как различные варианты благосостояния к тому времени еще не оформились окончательно [Esping-Andersen, 1990]. Они были в процессе становления.

Наш богатый концептуальный инструментарий развивается тогда, когда туман, окутывающий прошлое, рассеивается, и мы обнаруживаем нечто вроде стабильного равновесия, для которого характерна историческая неизменность, широкое распространение и, не в меньшей степени, *причинно детерминированные влияния*. Как социологи, мы видим (или, по крайней мере, предполагаем), что некая сила влияет на людей, общества или нации. Есть что-то волшебное в том, когда мы видим настолько ясно, что можем выбрать рабочую *идеальную модель* того или иного феномена. Бюрократия Вебера вышла из тумана многовековой истории формирования наций – китайской и, более близкой Веберу, немецкой. Немецкая бюрократия приобретала видимую форму, становилась непобедимой, сверхрациональной, способной противостоять британскому дилетантизму или американской коррупции. Так появился германоцентричная идеальная модель. Маркс был не в восторге от того, какой диагноз поставили капитализму его предшественники, но он был не только блестящим мыслителем, у него было еще одно преимущество – место и время, когда он жил и писал. Социальные барьеры, возведенные капиталистической экономикой в Викторианской Англии, стали в какой-то мере реальностью: вот пример англоцентричной идеальной модели, где во главу была поставлена классовая формация.

Концептуальный инструментарий, доставшийся нам в наследство, эффективен в двух случаях: когда история стабильна и когда создаются условия для социальной конвергенции. Например, очень немногие предвидели последствия эволюции парламентской демократии в конце XIX столетия. Должен ли был этот процесс закончиться пустыми разговорами, видимой легитимацией элиты, укрепившей свои позиции, или властью класса, как утверждал Ленин? Или в итоге мы бы получили троянского коня социализма, на что, собственно, и надеялись реформисты-социалисты и чего боялись либералы и консерваторы ¹? Европа пострадала от революций, гражданских войн и фашизма, потому что ясного ответа на этот вопрос не было. В конце концов, он появился, но лишь десятилетия спустя ².

¹ У Э. Хейманна (1929) представлено классическое основание этих высказываний.

² В виде репрезентативной демократии Шумпетера (1942) и демократической классовой борьбы Липсета.

Многие наши продуктивные концепты вначале были «центристскими». Несмотря на то, что бюрократия Вебера и «Железный закон» Михельса изначально касались именно немецкой реальности, мы рассматриваем их как идеальные модели, всеобщие феномены, так как международная практика в значительной мере вращается вокруг них. Подобным же образом теория модернизации и плюралистическая демократия являются американоцентричными трансплантатами. В самом деле, большинство европейцев и жителей Латинской Америки в 1950-х годах верили (и надеялись), что они в свое время станут такими же развитыми, плюралистичными и демократичными, как американцы. Большинство размышлений по поводу государств всеобщего благоденствия в высшей степени шведоцентричны — всякое государство всеобщего благоденствия оценивается с точки зрения того, насколько оно отклонилось от шведской практики [Shalev, 1983]. Центральные понятия обладают влиянием, если есть конвергенция, если их «родина» становится гегемоном развития.

Но тот же самый концептуальный инструментарий становится неэффективным, если с его помощью пытаются описать реальность, которая уходит в прошлое. Когда формы, господствующие в прошлом, разрушаются, тогда мы погружаемся в туман *процесса*. Так обстоит дело с бюрократией Вебера — весьма «фордистской» концепцией производительности, если оценивать ее с современной точки зрения — постулирующей независимость между личностью и организацией / офисом, дистанцированными друг от друга. «Гуру» менеджмента, специалисты по «социальной сети» и современные исследователи важнейших процессов производства утверждают: личностные данные и социальные навыки — вот что делает современную организацию эффективной. Сегодня *большое* значение имеет то, *кто* работает в организации. Веберовский бюрократ исчезает, а вместе с ним уходит в прошлое еще одна идеальная модель.

Или рассмотрим стандартные понятия труда и профессиональной иерархии, использующиеся при изучении стратификации. Похожи ли отношения между докторами, медсестрами и санитарями или между менеджерами ресторана, официантами и уборщиками на управленческие иерархии в «индустриальном обществе»? Возможно, нет, потому что общество обслуживания предполагает, что производство и потребление совпадают во времени, что основные производственные отношения возникают между клиентом и производителем. Трудность здесь состоит в том, что мы сталкиваемся с процессом, который разворачивается на наших глазах. Будет ли постиндустриальная профессиональная иерархия похожа на иерархию в банке или в Макдоналдсе, или в детских садах, или в медицинской организации? И, возвращаясь к проблеме производительности, соответствует ли цена продукта производительности

его изготовителя? Будет ли стрижка за 50 \$ в салоне «*Chez Pierre*» в два раза производительнее стрижки в местной парикмахерской? Можно ли сказать, что производительность сотрудника детского сада, который присматривает за десятью малышами, выше, чем производительность матери одного из этих детей? Как ответить на подобные вопросы? Мой аргумент прост: «пост-измы» не помогут нам разобраться. Вы можете мне сказать, что мой консультант по инвестициям или салон «*Chez Pierre*» работают в рамках «пост-фордистского производства» и «пост-продуктивизма», но что это объясняет?

Когда «родина-мать» сдает свои позиции, когда изменения приобретают радикальный характер и когда великие вопросы о том, как во враждебном мире экономической конкуренции все еще возможна социальная интеграция, остаются без великих ответов, именно тогда социология должна обрести второе дыхание. Именно тогда, *raison d'être* социологии, а именно неисчислимы вариации, становятся необъяснимы, и социология должна искать новую точку опоры.

На пороге нового общества

Что делать, когда все изменяется, и сами мы, кажется, окутаны пеленой тумана? На эту затруднительную ситуацию можно среагировать тремя основными способами. Первая реакция – это реакция приверженцев «конца истории» или постмодернистов, которая, в целом, заключается в том, что отныне и впредь ничто не имеет никакого внутреннего смысла, никакого направляющего стержня. Приверженцы второй, весьма популярной сегодня точки зрения, полагают, что ригидность общества подавляет любые изменения. Некогда созданные институты, люди, когда-то вовлеченные в институциональную практику, воссоздают себя заново по собственному образу и подобию. Следовательно, пенсионные системы сохранятся почти в прежнем виде; государство всеобщего благополучия продолжит свое существование. В самом общем виде современные исследования разнообразных видов капитализма и различных систем производства идут в данном русле. В них отвергается предположение, что мы движемся в направлении некоего фундаментального системного слияния, связанного с крахом коммунизма и расцветом глобальной экономики, и утверждается, что различия в институциональном оформлении продвигают экономику в параллельных направлениях, но различными траекториями, которые глубоко зависят от пройденного пути, связанного с их институциональной отправной точкой. Такой подход может привести (и приводит) к двум диаметрально противоположным гипотезам. Первая, весьма детерминистская, говорит нам о том, что раз рельсы проложены, поезд неумолимо будет продвигаться к месту своего назначения; вторая утверждает, что последовательные небольшие, но повсеместные изменения, предпринятые с целью поддер-

жать нерушимость системы, могут привести к институциональному краху¹. И, наконец, последняя реакция находится в согласии с третьей точкой зрения: мы стоим перед лицом исторического перелома, грядет смена эпох².

Есть ли этот случай третья позиция? Когда мы говорим об историческом переломе, мы подразумеваем, что общество уже не то, что было раньше, что способы действия в нем неузнаваемо изменились. Слова, которыми мы описываем наши действия или институты, возможно, остались прежними, но наполнились новым содержанием. Нами движет другой набор мотиваций, блага производятся совершенно иным способом, а классовые или социальные различия измеряются прежде неизвестными величинами. Одним словом, пересматриваются компромиссы, управляющие нашим обществом. В прошлом все великие исторические трансформации, по существу, были обусловлены появлением новых способов производства, новых стимулирующих структур и новых способов утилизации и распределения ограниченных ресурсов. То, что мы подразумеваем под ограниченными ресурсами, будет меняться: когда-то это была земля, затем капитал, теперь, возможно, социальный капитал и интеллектуальные ресурсы. Это означает, что люди предъявят требования распределения на основе действий и поступков, которые кажутся многим незаконными, или на основании того, что ими движет нечто чуждое Протестантской, то есть трудовой, этике. Становление новой экономики означает возникновение новых социальных структур, конфликтов, расколов. Новая экономика требует перестройки институтов, когда, говоря языком социологии, сохранение «статус кво» способствует скорее разделению и расслоению, нежели интеграции. Когда труд стал товаром, семья стала «парсоновской» семьей, появились торговые союзы, гильдии превратились в корпоративные ассоциации, государство стало государством всеобщего благосостояния, именно тогда социология сделала себе имя. Эти тенденции, интегративные по своей природе, объяснили наши классики. Сумеет ли мы сформулировать великие вопросы? Видим ли мы новые идеальные модели или *лейтмотивы*? Есть ли у нас продуктивная гипотеза относительно новой социальной конвергенции?

¹ Последняя точка зрения высказана в недавней работе Майлса и Пирсона [Myles, Pierson, 1999].

² Разница между тремя альтернативами очень драматична. Те, кто привержен представлению о «конце истории» логически верят, что определенный исторический разрыв произошел. Путь зависимости и исторического разрыва не взаимоисключающи. Например, продвинутые общества насыщены чертами абсолютизма и, возможно, даже средневековыми практиками. Так, члены «Палаты Лордов» не избираются и все еще носят парики.

Конечно, среди легионов ученых, занятых тщательным исследованием практических тенденций, которые возникают в той или иной сфере общества, всегда найдется какой-нибудь эксцентричный футуролог. В этой связи давайте подробнее остановимся на одном наиболее многообещающем научном исследовании, принадлежащем Кастельсу [Castels, 1996, 1997, 1998]. Его амбициозный трехтомный труд, посвященный изучению социальной сети, встретил на удивление доброжелательные отклики. Кастельса объявили новым Вебером¹. Его исследование, без сомнения, является настоящей, непротиворечивой попыткой выйти за пределы изучения «обычного» общества и отважиться на конструирование идеальных моделей и выявление *лейтмотивов*, характерных для возникающего на наших глазах социального порядка.

У Кастельса много учителей. Когда он анализирует сеть, то во многом идет вслед за Грановеттером [Granovetter, 1985] и новой экономической социологией; акцент на общественных действиях сделан, по-видимому, под влиянием Турэна. Но Кастельс рискует пойти дальше других. Суть его идеи состоит в том, что старый порядок, управляемый разрозненными индивидуальными союзами, которые гонятся за прибылью, производительностью, счастьем или властью, замещается новым, при котором мотивы, желания и действия зависят от как никогда подвижных, но вездесущих социальных сетей². Все решают именно сети, а не предприятие, бюрократия или семья. Очевидно: то, что движет экономикой, в конечном итоге проявится и в культуре. <...> В эпоху индустриального капитализма главенствовала протестантская этика в различных вариантах. По мнению Кастельса, религия больше не является движущей силой развития, а скорее напоминает что-то вроде современного движения луддитов, тормозящего прогресс. Дух капитализма XXI века питается страстью освоения информационных технологий, ощущением приобщенности и включенности в «киберпространство». Переход от механистической к органической общности приобретает совершенно новое значение, если теперь социальные сети влияют на рыночные операции и производственные решения, если качество сетей играет определяющую роль, побуждая людей сотрудничать и доверять друг другу.

Кастельс не одинок в своем стремлении подчеркнуть дестандартизацию и дифференциацию, исчезновение социальной гомоген-

¹ См. обзор Гидденса: The Times Higher Educational Supplement (December 18, 1996) и обзор К. Фримена: The New political Economy.

² Не так просто разобраться, правильно ли была оценена работа Кастельса, так как ее целью было представить масштабную целостную картину во всех ее подробностях; где все оказывается взаимосвязанным и все одинаково значимым. Следовательно, я не могу быть уверен в том, что способен воспроизвести ее еще кому-нибудь.

ности и отмирание былых социальных прототипов. Все мы можем согласиться с тем, что «стандартный производственный работник» больше не актуален. Теперь коллективная мобилизация будет обусловлена другими факторами. Роль рабочей силы, которая фактически производит материальные товары, в настоящее время достаточно невелика, и совсем немного осталось тех, кто занимается простым ручным трудом, который является для нас основополагающей характеристикой рабочего класса и производительности. А раз так, тогда что такое класс и где та сила, которая движет современным обществом, заставляя его меняться? Большинство людей уже сейчас, а в скором времени — почти каждый будет вовлечен в такой вид производства, который в то же самое время для кого-то является потреблением. Такую картину мы наблюдаем в сфере высокопрофессионального обслуживания, где работают, например, стоматологи, финансовые консультанты и психотерапевты, в также в рядовом сервисе — это официанты или сиделки, ухаживающие за пожилыми. Обслуживание, в совокупности с необходимостью владеть определенными социальными навыками, по-иному направляет вектор власти и управления. Конечно, доктор будет отдавать распоряжения медсестре, а старший официант — своим помощникам. Тем не менее львиная доля требований, предъявляемых к медсестрам или официантам, равно как и докторам или бизнес-консультантам, исходит от потребителя, от клиента. Значение в данном случае имеет именно цепь социальных отношений; взаимное доверие выдвигается на первое место, а качество исполнения ценится больше всего. Одним из способов понять, как возникают доминирующие отношения власти, является исследование социальных связей. Кастельс, которого я здесь пересказываю, выдвинул предположение о том, откуда будут исходить новые вектора конфликтов, социального расслоения и общественной мобилизации: будь они реакционными или прогрессивными, они возникнут и будут распространяться с периферии глобальной сети. Однако был ли когда-нибудь для социологов очевиден тот факт, что исключение и периферия и в самом деле диктуют истории свои условия?

Сильная социология в том виде, в котором ее создали наши классики, всегда была более институциональной, чем волюнтаристской: агент-организация воздействует на структуру через институты власти. Как в такой перспективе можно было бы объяснить простую очевидность — возрастающее значение социальной сети? Можно предположить, что если экономическая выгода и жизненные перспективы будут зависеть главным образом от того, насколько прочно и в какую именно сеть включен человек, изменится связь между семьей, социализацией и классом. Люди будут скорее соперничать за доступ к многообещающим сетям, чем за хорошо оплачиваемую работу. Твой престиж, доход

и власть будут в меньшей степени зависеть от твоей принадлежности к той или иной организации и в большей — от того, с кем ты знаком, есть ли у тебя взаимовыгодные связи и насколько они полезны. Это означает, что причиной неравенства станет социальный капитал, взаимодействие семьи и образования. Социальный капитал и социальные навыки, с одной стороны, и традиционный физический и человеческий капитал — с другой, все больше конкурируют между собой за право быть основными ограниченными ресурсами, подлежащими накоплению и обмену; появляется новый источник ренты. А если это так, то нам необходимо определить их денежную стоимость. Но, увы, здесь мы натываемся на неофизиократическое препятствие, а именно: как понять (не говоря уже о том, чтобы измерить), что такое производительность, на что есть спрос и что в дефиците в том обществе, где большинство людей обслуживают друг друга.

Все более очевидное расхождение экономики и общества, возможно, не спровоцирует противостояния обособленных капиталистов, стремящихся к продуктивности, и безликого рабочего класса, как это было при индустриальном обществе и капитализме благополучия. Если социальный класс остается краеугольным конструктом социологии, то тогда этот концепт нужно радикально переосмыслить. Фактически, если согласится с тем, что мы движемся в том самом направлении, о котором говорилось выше, оказывается, что задача налаживания социальных связей в меньшей степени ложится на плечи семьи, церкви, сообщества и социальных движений и большей — зависит от экономических сетей. Куда же деваются наши проверенные временем социологические конструкты? Если мы поставили себе целью понять исторический перелом и пролить свет на общество будущего, то лучшее, с чего можно начать, — исследование семьи, самого фундаментального из всех социальных институтов. Вероятно также, что в ней назревают революционные изменения. В самом деле, некоторые верят, что это — авангард, определяющее ядро постиндустриального общества¹.

Семья, которая когда-то была «убежищем в бессердечном мире», из элементарной единицы социальной интеграции может трансформироваться в единицу, где экономика, совсем как в доиндустриальном обществе, играет главную роль. Все мы знаем, что семья радикально меняется. Демографы говорят о второй демографической революции [Van de Каа, 1987]. Идеальная / типичная семья «индустриального общества» была разновидностью модели Парсонса, это была маленькая частная ячейка, предоставляющая защиту, интимность, являющаяся сферой социализации и пассивного потребления.

¹ Здесь я не могу не сослаться на мою собственную недавнюю работу (1999), вдохновленную работами Гершуни [Gershuny, 1978, 1988].

За ней последовало развитие разнообразных «а-типичных» семей, которые могут приспособиться к динамике экономики обслуживания, потому что во внешнем мире они нуждаются гораздо больше, чем в интимности семейной жизни. В этом кроется потенциальный катализатор глобальных перемен. Помогут ли нам наши эмпирические знания, наши исследовательские стратегии раскрыть их истинный характер? С моей точки зрения, серьезное испытание, которое нам предстоит выдержать, состоит в том, можем ли мы установить связь между индивидуальными мотивами, давлением институтов и характером глобальных перемен.

Давайте посмотрим, о чем нам говорят последние эмпирические данные, касающиеся перемен, происходящих с семьей. Понятие «пост-нуклеарной» семьи для интерпретации этих данных не подходит. Но, тем не менее, нам нужна некая константа, поэтому давайте начнем с самого начала. С экономической точки зрения индустриальную экономику стимулировал рост населения и невероятный спрос на потребительские товары, такие как автомобили, холодильники и стерео. Демократическая классовая борьба, плюралистическое «общество среднего класса» и «богатый рабочий» – вот *лейтмотивы* этого порядка, подразумевающие и допускающие, что семью обеспечивает один «кормилец», и что *он*, даже не имея квалификации, может заработать достаточно для того, чтобы приобрести собственность, иметь автомобиль и полностью содержать жену-домохозяйку. Как подчеркивает Леви [Levy, 1988], его сыновья, став взрослыми, станут работать даже лучше своего отца. С точки зрения социальной интеграции, благодаря жене-домохозяйке, эта идеальная модель семьи способствует не только росту рождаемости, но также поддержанию соответствующего уровня комфорта и заботы о членах семьи.

Эта, конечно, весьма условная картина, на сегодняшний день не актуальна. С экономической точки зрения произошло два фундаментальных изменения. Первое: женская трудовая занятость начинает сравниться с занятостью мужчин и замещает собой основную движущую силу экономического роста – увеличение численности населения. Второе: новой экономикой обслуживания управляет семья, но совсем не так, как раньше. Конечно, спрос на услуги – так же, как и спрос на автомобили, – зависит от покупательской способности, и если в семье зарабатывают двое, то покупательская способность семьи выше. Проблема, однако, состоит в том, что рост производительности (как мы его измеряем) склонен к снижению в сфере обслуживания, замедляя реальный рост доходов. Поэтому динамика обслуживания должна зависеть от дополнительных факторов. Именно в этих обстоятельствах семья выступает как определяющий элемент новой экономики.

Проблема заключается в относительности цен на услуги. В рамках экономики, смыслом которой является производство потребительских товаров, семья либо может позволить себе приобрести товар, либо должна обходиться без него. Несколько домохозяйств могут совместно купить холодильник, не говоря уже о машине. В экономике обслуживания все по-другому. Едва ли у производителя есть необходимость конкурировать с более дешевыми иностранными производителями, поэтому глобализация в этом случае – не главная проблема. К тому же производитель вынужден соперничать с домохозяйством как с невероятно сильным соперником, так как, в принципе, домохозяйство само способно себя обслуживать [Gershuny, 1978, 1988]. Следовательно, чтобы экономика обслуживания развивалась, цена на услуги должна конкурировать с альтернативной стоимостью самообслуживания. Это означает, что есть два варианта развития событий. Первый: снизить стоимость услуг для домохозяйств. Это, по всей видимости, приведет к резкому и значительному неравенству в зарплате и доходах, возможно, создаст новую социальную поляризацию. Второй: повысить потребность домохозяйства покупать услуги. Это может произойти, если семье не хватает времени или умений для того, чтобы справиться с самообслуживанием. Примечательно, что в семье нового типа, так называемой нестандартной «нетипичной семье», недостаток времени связан с тем, что женщины кардинально пересмотрели свои жизненные стимулы и предпочтения. Холостяк, родитель-одиночка или семья, где и муж, и жена делают карьеру, страдают от критической нехватки времени, потому что женщины выбирают экономическую независимость. Вот почему именно женщина, как *femina economica*, и семья, как социальный институт, порождают экономику обслуживания и придают ей особую логику.

Одним словом, экономика обслуживания развивается потому, что люди, пытаясь адаптироваться к новым условиям, невольно перестраивают семейную жизнь. Но в этом процессе они сталкиваются с экономической реальностью, которая далеко отстоит от того, что мы обычно понимаем под «индустриальным обществом». С одной стороны, «новой» семье катастрофически не хватает времени для самообслуживания и она срочно ищет альтернативные варианты. С другой стороны, предложение будет соответствовать спросу, если цена будет приемлемой, а это означает низкие заработки тех, кто занят в сфере обслуживания. США стоит в авангарде данного варианта развития, представляя собой вполне реальную идеальную модель: экономика, при которой многие работники, занятые в сфере обслуживания, зарабатывают слишком мало для того, чтобы позволить себе заплатить даже за свои собственные услуги. В такой перспективе новое социальное расслоение неизбежно. Если индустриальная экономика подпитывала

раскол между центральными и периферийными работниками, то вероятнее всего, в новой экономике высококвалифицированные специалисты, обладающие солидным социальным капиталом, будут противостоять агломерату «аутсайдеров». Как на практике будут выглядеть эти новые проигравшие — вопрос открытый, хотя в рамках одного из возможных вариантов развития событий их можно описать как людей, которые не имеют постоянной (или вовсе не имеют) оплачиваемой работы, не имеют значимых связей и заняты в сфере малоквалифицированного обслуживания.

Нетипичные семьи стимулируют, а может быть, даже и создают новую экономику, но тем самым они создают и новые препятствия для социальной интеграции. Устойчивое к изменениям ригидное государство всеобщего благосостояния, обслуживающее, главным образом, нужды прежних участников, то есть традиционного мужчину-кормильца и его «парсоновскую» семью, естественно, не способно сплотить общество. Но на это не способны и традиционные социальные общности. Какие тенденции намечаются в этой области? Перемены, по-видимому, откроют перед семьей две возможности. Роль семьи в содействии интенсивной социальной интеграции может ослабеть, так как интенсивность жизни семьи и сообщества, наверно, обратно пропорциональна уровню потребления услуг вне дома. Взаимодействие между членами семьи будет уменьшаться, у родителей будет меньше времени, чтобы обеспечить своих детей солидным социальным капиталом. Но в нетипичных семьях детей немного, и это может означать обратное, а именно: родители смогут вкладывать в них больше социального капитала, уделять им больше любви и внимания. Социальной изоляции подростков может, помимо прочего, способствовать отсутствие братьев и сестер или неполные семьи, но более интенсивное взаимодействие между семьями поможет это компенсировать. Развод часто приводит к тому, что ребенок остается на попечении бабушек и дедушек. Однако если все члены семьи находятся либо в доме престарелых, либо на работе, либо в школе или детском саду, сообщество распадается. Для тех, кто не занят трудовой деятельностью и не находится в клинике по состоянию здоровья, например, для безработных или пенсионеров, единственным способом наладить контакты окажется общение с соседями, такими же, как они, безработными и пенсионерами, — а эти связи вряд ли к чему-нибудь приведут. Но, опять же, это можно компенсировать, переместив «сообщество» в детский сад, на рабочее место, в сообщество пенсионеров. Крепнущая связь «семья — работа» может расширить пропасть между теми, кто обладает социальным капиталом, и теми, кто его не имеет, — и социальное исключение может обернуться жестокой изоляцией.

Но есть и другая альтернатива. Сущностный центр семьи или того, что раньше называлось семьей, переместился в другое место. Как

предположил Хохшильд [Hochschild, 1997], его роль может сыграть рабочее место, став той основополагающей точкой, где пересекутся социальная интеграция и эмоциональное удовлетворение. Если так, что станет движущей силой социального сплочения и социального исключения? Как это отразится на великом компромиссе между производительностью и социальной солидарностью?

Это не набросок сценария будущего или судного дня. То, что случится, скорее всего, будет сильно отличаться от этих мрачных предсказаний. Я в большей степени хотел бы заострить внимание на методе, а не на прогнозе. Проще говоря, единственной действительно неотложной задачей социологии является эмпирическое исследование, которое позволит нам сделать те или иные выводы, решить, какой из альтернативных сценариев развития представляет наиболее убедительные, надежные и конвергентные идеальные модели развивающейся семьи, рабочего места, бюрократии или государства всеобщего благополучия. Я проанализировал последние статьи не для того, чтобы отважиться на создание новой модели общества, а для того, чтобы лучше понять, какие задачи нам предстоит решить, если мы хотим ориентироваться в густом тумане социальной трансформации.

Социология для общества будущего

Мы, конечно, можем ждать своего часа, занимаясь тем временем проблемой дискурса и Фуко. Или мы можем купить фонари, рассеивающие туман, которые, при надлежащем использовании, расширят наш горизонт. Все, что они могут, — это более ярко осветить близлежащие окрестности, детали, которые находятся прямо перед нашими глазами. Говоря методологически, я выступаю в защиту намеренного и целенаправленного эмпиризма. Если формируется какой-то новый макрокосмос, мы не сможем понять, что это такое, пытаясь абстрактно представить некое невидимое целое, скрытый *Gestalt*. Более верной стратегией будет выяснить, что на самом деле происходит в мириадах социальных частиц, которые, так или иначе, образуют целое. Что происходит в семьях или на рабочем месте? Как люди получают работу? Какую работу? Как им платят? И как они тратят свои деньги? Мы не можем пока что увидеть всего города из-за тумана, но, наверное, мы сможем мельком оглядеть несколько пригородных домов. Чем больше таких домов мы увидим, тем легче представить, что будет дальше.

Для целенаправленного эмпирического исследования, проведенного в таком духе, более существенное значение будет иметь подход, а не развитая, все объясняющая теория. Как недавно заявил Голдторп [Goldthorpe, 1996], недостаточно реалистичная оценка *индивидуального* действия не играет особой роли, если мы согласны с тем, что общество в целом более рационально в своих намерениях, чем его отдельные

представители, что люди объединяются в коллективы для определенных целей. Или, как утверждает Хечтер [Hechter, 1998], смысл теории рационального выбора состоит не в том, чтобы предсказывать индивидуальное поведение, а скорее, социальные последствия. Возьмем, к примеру, знаменитую уличную банду Уайта [Whyte, 1955] – вот, казалось бы, нерациональный путь достижения американской мечты. Терпение Уайта – он исследовал банду в течение длительного времени – развеяло туман. Каждый отдельный член банды мог вести себя рационально или иррационально, но это не имело значения. Как только действия членов банды начинали подчиняться систематическому принципу солидарности и коллективности, банда проявляла себя как в высшей степени рациональный организм. Целенаправленно эмпирическое исследование, как свидетельствует работа Уайта, вполне может руководствоваться моделями рационального выбора, если проводить его строго в духе Поппера. Возможно, это наилучший способ установить связь между микроданными и макрореальностями, особенно если наша цель – обнаружить механизмы, объясняющие, почему X предсказывает нам Y [Blossfeld and Prein, 1998. P. 16–17; Hechter, 1998. P. 287]. Без сомнения, рациональный выбор или, коли на то пошло, голый эмпиризм бесполезны, пока у нас не появится ясное представление о том, что объясняется.

Эмпиризм, как кажется, идет в разрез с предписаниями классиков социологии, которым, при довольно схожих обстоятельствах, удалось создать «Капитал», «Протестантскую этику» и «Самоубийство», великие труды, авторы которых провели целостный анализ, задали свои великие вопросы, выдвинули смелые гипотезы, оказались способны сконструировать идеальные модели. В целом еще есть специалисты, приверженные рациональному выбору методологии. Есть ли у них мощные лампы, рассеивающие туман? Может быть, но мы не забудем, что их огромные макроизображения нового порядка были конечными продуктами скучного изучения эмпирических мелочей: изменения трудовых практик, жизненных условий семей рабочего класса, религиозного поведения китайцев или статистики суицидов <...>

Едва ли наши классики не были знакомы с эмпиризмом, но как же они обходились без описаний и классификаций? Как они использовали целенаправленный эмпиризм? Они применяли метод сравнения, обычно – двойного. Во-первых, они проводили диахроническое сравнение современности с *ее историческими корнями*. Точкой отсчета и ориентиром для них было доиндустриальное, некапиталистическое общество, которое помогало им понять, что в их эпоху было истинно новым, а что относилось к «обычному», доиндустриальному обществу. Маркс упрекал своих предшественников в том, что они не умели мыслить абстрактно. Конечно, они были все еще слишком близки к доиндустриальному

укладу. Вебер постиг сущность религиозной жизни при капитализме потому, что проследил ее развитие на протяжении нескольких столетий и увидел, как духовная жизнь была наполнена новым смыслом. Дюркгейм знал или, по крайней мере, читал о жизни в более простых доиндустриальных обществах и поэтому понимал, что механическая сплоченность, характерная для племенного общества, в индустриальном массовом обществе не мыслима¹.

Под «историческими корнями» социологам постиндустриального общества следует понимать не родоплеменные сообщества или Средневековую Англию. Аналитически более значимым ориентиром может быть «логика индустриализма», «капитализм благосостояния» или «демократическая классовая борьба». По крайней мере, именно с этой точки зрения я подошел к предварительной интерпретации семьи и экономики обслуживания. Если мы хотим понять, является ли семья еще одним ригидным институтом или здесь произошел разрыв преемственности, может быть полезен Парсонс. Чтобы исследовать с этой же точки зрения иерархию профессиональных отношений, имеет смысл обратиться к трудам Блау и Дункана. Современные студенты, изучающие социальную организацию, кажется, очарованы Вильямсоном и теорией транзактной стоимости, но если их целью является изучение организационного поведения в современном мире, они могли бы добиться лучших результатов, сравнив современные данные с концепцией «человека в организации» Уайта.

Диахроническое сравнение имеет свои трудности. Одна из них — эволюционная асимметрия, то есть «разрыв преемственности» или «ригидность» могут варьироваться от феномена к феномену, от института к институту. Возможно, семья претерпит революционные изменения, а государство всеобщего благополучия или система индустриальных отношений в то же время останутся поразительно стабильными. Асимметричные институциональные перемены могут привести к сильному нарушению равновесия, социальному напряжению или к тому, что мы часто называем «кризисом». Следовательно, этот момент является идеальной отправной точкой для исследовательского анализа и поэтому не представляет собой настоящей трудности. Вторая и на этот раз настоящая проблема вытекает из эволюционной схожести: недавнее прошлое может исказить наше видение. Как правило, в жизни общества редко случаются неожиданные резкие переломы; перемены обычно происходят незаметно или, как полагал Маркс, когда количество постепенно перерастает в качество. Поэтому диахроническое сравнение требует обращения к историческим корням, возвращения к истокам

¹ Коннелл (1997) утверждает, что Дюркгейм и его французские коллеги получили представление о механической сплоченности, изучая колонизацию Магриба.

социального феномена. Чтобы определить, достигли ли мы нового «постиндустриального» (sic) порядка, лучше всего обратиться к эпохе высокоразвитого индустриализма. Если мы думаем, что складывается радикально новый, «а-типичный» и нестандартный уклад жизни, то было бы неплохо сравнить динамику современных когорт с динамикой когорт прошлого.

Придерживаясь целенаправленного эмпиризма и пользуясь методом диахронического сравнения, мы должны знать, что мы ищем. Как мы определим, что наш расплывчатый объект все так же окутан пеленой тумана? Кастельс в своей работе, кажется, твердо придерживается принципа целенаправленного эмпиризма, но так как его *explanandum* удивительно всеобъемлющ, у эмпириков практически нет ориентиров. У меня сложилось впечатление, что он сперва создал воображаемый целостный гештальт, а затем стал рассматривать каждую деталь всех составляющих его частей для того, чтобы подогнать их под воображаемое целое. Когда ты настаиваешь на изучении того, как все связано со всем, образуя некий наивысший *Gestalt*, то твоя задача становится действительно необъятной. Великие умы человечества сначала бы вообразили невидимый город будущего, а затем стали бы разбираться, сочетаются ли детали с образом. К сожалению, большинство из нас не обладают такой широтой ума; мы все еще ощущаем потребность в изобретении таких фонарей, которые осветят сразу весь горизонт ¹.

Здесь самое время для второго, в большей степени синхронического, сравнения. Для водителя первый пригородный дом, появляющийся из тумана, стоит в авангарде. Может ли водитель быть уверен, что за этим домом лежит целый город? Будет ли большинство домов, мимо которых он проедет, похоже на первый? Иными словами, является ли первый дом идеальной моделью? Фонарь, рассеивающий туман – и чем он ярче, тем лучше, – здесь явно необходим. А это означает детальное и целенаправленно эмпирическое исследование, цель которого – выявить разнообразие. Самый лучший (и самый смелый) из наших предшественников верно определил авангард развития общества и трансформировал современную ему реальность в описание устойчивой идеальной модели будущего общества, той сверхсилы, которая обуславливает историческую конвергенцию. Не важно, удачлив был Вебер или гениален, когда распознал в немецкой бюрократии авангард развития и воспользовался этим для создания своей идеальной модели. Кастельс полагает, что авангард будущего – это Силиконовая Долина. Но в конечном итоге только история покажет, к какому варианту развития склонится

¹ Тилли [Tilly, 1984] блестяще описал методологический паралич, к которому могут привести всеобъемлющие сравнения.

общество – Силиконовая Долина, Эмилия Романья или, может быть, Кабул. Если победит Силиконовая Долина, Кастельса заслуженно назовут современным Вебером.

Таким образом, изучать общество в процессе трансформации можно, не опираясь на теорию, не используя *лейтмотивы* или четкие референтные критерии. Решение проблемы состоит в применении сравнительного метода и в столкновении исторически удаленных истоков явления с первыми проявлениями (авангардом) будущего, которое зарождается в современности, а также в сборе и тщательном исследовании максимально большого количества данных. Нашей задачей, как всегда, является внимательный анализ разнообразия в надежде выявить в нем систему. В этом социологи умеют проявить себя с лучшей стороны. В самом деле, именно здесь наша дисциплина может иметь преимущество перед дисциплинами с сильной теорией.

Есть, правда, одна нерешенная проблема: отважится ли сегодня большинство социологов на такое методологическое предприятие? Нам придется несколько переориентировать нашу дисциплину, если мы хотим, чтобы в будущем она принесла нам хорошие результаты. Диахроническое сравнение современного общества с его историческими корнями невозможно без знания истории. Становиться историками второго сорта – не особенно привлекательная перспектива. Но достаточно ли у нас знаний, чтобы качественно и основательно провести историческое сравнение? Наши студенты все еще изучают механизмы капитализма Золотого Века? А чтобы распознать зачатки будущих перемен, требуются в свою очередь, не просто поверхностные знания о других обществах, сообществах, экономиках. Много ли наших компаративистов и в самом деле являются настоящими компаративистами в этом смысле слова? Как мы гарантируем, что следующее поколение социологов будет достаточно знать об обществах, с которыми им придется сравнивать свое собственное общество?

Такой социолог, который, возможно, внесет немного или что-нибудь в проявление социологического будущего, – это тот, кто остается счастливо «приклеенным» к его или ее собственному обществу и времени. С дидактической точки зрения мы можем тщательно обдумывать политику, не только подбадривая, но и активно требуя, чтобы будущие социологи не ограничивались изучением только своего собственного общества, но всегда видели компаративный контекст. Способность социологии ставить глобальные вопросы и отвечать на них значительно увеличится, если американцы будут изучать Германию, немцы – Испанию, а испанцы – Штаты. Если, и в самом деле, Кастельс однажды обойдет всех американских социологов и станет Максом Вебером нашего времени, то, возможно, это произойдет потому, что он испанец, работающий в США.

Список литературы

- Bell D.* Models and reality in economic discourse. The Public Interest, Special Issue, 1980.
- Bloch F.* Postindustrial possibilities: A Critique of Economic Discourse. Berkeley: University of California Press, 1990.
- Blossfeld H. P. and Prein G.* The relationship between rational choice theory and large-scale data analysis – past development and future perspectives // H. P. Blossfeld and G. Prein (eds). Rational choice theory and large-scale data analysis. Boulder, Co: Westview Press, 1998.
- Castells V.* The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1. Oxford: Blackwell, 1996.
- Castells V.* The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 2. Oxford: Blackwell, 1997.
- Castells V.* The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 3. Oxford: Blackwell, 1998.
- Coleman J.* Foundation of Social Theory. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1990.
- Collins R.* Weber's last theory of capitalism: a systematization // American Sociological Review. 1980. № 45. P. 925–942.
- Connell R. W.* Why is classical theory classical? // American Journal of Sociology. 1997. № 102. P. 1511–1557.
- Espin-Andersen G.* The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity, 1990.
- Espin-Andersen G.* Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Freeman C.* The New Weber // The New Political Economy. 1998. № 3. P. 461–465.
- Gershuny J.* After industrial Society: The emerging Self-Servicing Economy. L.: Macmillan, 1978.
- Giddens A.* Central problems in Social Theory. Berkeley: University of California Press, 1979.
- Goldthorpe J.* The quantitative analysis of large-scale data sets and rational action theory: for a Sociological alliance // European Sociological Review. 1996. № 12. P. 109–126.
- Granovetter M.* Economic action and social structure: the problem of embeddedness // American Journal of Sociology. 1985. № 91. P. 481–510.
- Hechter M.* The future of rational choice theory and its relationship to quantitative macro-sociological research // H. P. Blossfeld and G. Prein (eds). Rational choice theory and large-scale data analysis. Boulder, Co: Westview Press, 1998.
- Hochschild E.* The time Bind. N. Y.: Metropolitan, 1997.
- Levy F.* Dollars and Dreams: The Changing American income distribution. N. Y.: W.W. Norton, 1988.
- Myles J. and Pierson P.* The comparative political economy of pension reform // P. Pierson (Ed.). A new Politics of Welfare State. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Shalev M.* The social democratic model and beyond // Comparative Social Research. 1983. № 6.

Stinchcombe A. Costructing Social Theories. N. Y.: Harcourt, Brace&World, Inc., 1968.

Tilly C. Big structures, Large processes and Huge Comparisons. N. Y.: Russell Sage Foundation, 1984.

Van de Kaa D. The second demographic revolution // Population Bulletin. 1987. № 42. P. 3—57.

Whyte W. Street Corner Society. The Social Structure of an Italian Slum. 2nd Edition. Chicago: University of Chicago Press, 1955.

Госта Эспинг-Андерсен
профессор факультета социологии,
Университет Тренто
(Пер. с англ. И. Григорьевой)
